

растение, получившее условное название *Ländlergras* (таков и один из вариантов заглавия стихотворения см. [24]), — осложнился элегически-ми воспоминаниями о минувшем, рассказом о не выразимом словами чувстве, которое охватывало круг близких при виде одного цветка, и необходимостью говорить «за другую душу, и еще порфиородную» [25, с. 285].

Жуковский блестяще справился со своей задачей. «Цвет завета» оказался не заурадным риторическим упражнением на заданную тему, но образцом настоящей поэзии, что с удивлением и восхищением отмечал П. А. Вяземский. Однако в самой комплексности тематики этого стихотворения, как бы не зависящей от автора, уже сказалось, тем не менее, значительное отличие Жуковского от Пушкина. Последний, будучи знаком с «Цветом завета» задолго до его опубликования в 1837 г., дифференцировал опыт, накопленный Жуковским: словесная разработка в «Цвете завета» мотива дружбы и воспоминаний повлияла на стихи к лицейской годовщине [26, с. 126—127], а тема цветка-символа отразилась в «Цветке».

В «Цвете завета» также имеется риторическая амплификация от способа, от причины, от различия лиц, времени и места и т. д., но вычленить ее гораздо труднее — не только потому, что у Жуковского она присутствует неявно (не так, как пушкинские вопросы), но и потому, что виды распространения сливаются, незаметно перетекают друг в друга, образуя единый поток душевных переживаний, лирических эмоций, находящихся свое выражение в словесных и интонационных «кругообразных и возвратных движениях в строфах» [27, с. 210]. Так, вопрос *кто* относится то к субъекту лирической медитации (*passim*), то к ее объекту (строфы 1—3, 8, 13), то к «кругу нашему тесному» (строфы 3, 5—8), то к «новому товарищу», т. е. великому князю Александру Николаевичу (строфы 10—12); вопрос *что* — то к символическому значению цветка (строфы 2—3), то к сути воспоминания (строфы 4—7), то к содержанию «завета» (строфа 13). На вопрос *где* в первой строфе как бы отвечает описание места цветения «былинки полевой», а в четвертой — характеристика «стороны», где прежде собирался приятельский круг; в третьей и восьмой тот же вопрос задается в связи с теперешним местонахождением друзей. Вопросу *когда* в первой строфе соответствует упоминание о времени цветения, а в четвертой — седьмой строфах — повествование о «прошлых временах» и т. д. Логической стройности пушкинского «Цветка» противостоит намеренно нерационализированное смешение «неисповедимых» путей неизяснимого душевного порыва. Излюбленная поэтическая идея Жуковского о невыразимом [28] («О верный цвет, без слов беседуй с нами / О том, чего не выразить словами»), стимулированная заключительной фразой из письма Александры Феодоровны [29, с. 299], звучит в финале «Цвета завета» как художественно и риторически оправданная.

Основным образцом для «Цвета завета» послужила медитативная элегия (типа гётевского «Посвящения к „Фаусту“» [30, с. 86—87]). Вторая, третья и восьмая строфы «Цвета завета» — «прямой пересказ этой элегии Гёте» [20, т. 2, с. 510]. Однако стихотворение Жуковского обнаруживает сходство и с «Das Wunderblümchen» Т. Кернера. Их сближает «параллель между разрушенными формами земной красоты и вечными формами красоты небесной. Быть может, самый прием символизации субъективных ценностей в виде цветка, широко культивированный немецкой романтической школой, заимствован Жуковским» [31, с. 16]. Два разных стиливых пласта — от «классика» Гёте и «романтика» Кернера — перекрываются третьим, доминантным, в духе дрезденского салона поэтов-сентименталистов Э. фон дер Рекке и К. А. Тидге<sup>5</sup> [29, с. 300—303]. Наблюдать, как это происходит, можно на примере стихотворения Жу-

<sup>5</sup> Ср. впечатления А. И. Тургенева от «Цвета завета»: «Знаменование его скорее понять, нежели объяснить можно. Но нам, немцам, весь мистицизм чувствительности понятен» [25, с. 276].